

II.

„Языки некультурных народов“.

(По поводу книги проф. *Погодина* „Языкъ какъ творчество (Психологическія и социальныя основы творчества рѣчи). Происхожденіе языка“. — 4-й т. „Вопросовъ теоріи и психологіи творчества“. Харьковъ 1913 г. Ц. 2 р. 50 к.—560 стр.)

(Продолженіе) ¹⁾.

„Въ области изученія развитія языка, какъ орудія человѣческой мысли, совершенствовавшася вмѣстѣ съ умственнымъ совершенствованіемъ человѣчества... необходимо изслѣдованіе психическихъ предварительныхъ стадій,... на этихъ стадіяхъ возникновенія кристаллизуются первыя формы человѣческой культуры. Исторія человѣчества здѣсь сволится къ исторіи человѣческаго ума“ (с. 215-я). Отличительная черта этой стадіи необычайное обиліе говоромъ и ихъ разновидностей, даже крайняя неустойчивость въ произношеніи пзвѣстнаго слова однимъ и тѣмъ же лицомъ, а также „спеціальныхъ“ (по 5—6 для собаки, слона, лошади) названій животныхъ, растеній ²⁾. т. е. состояніе далекое отъ образованія понятій, идей, роднящихся и сближающихся разрозненные виды и особи природы и самихъ людей... Конечно, тутъ играетъ оч. видную роль и другая сторона дѣла—„эвфемизмъ“ (который обстоятельно выясненъ у Потебни, о которомъ разбросано не мало замѣчаній и въ моихъ „Заговорахъ“, но почти ни слова у Погодина), т. е. реальная боязнь имени и называніе потому ласкательными словами страшныхъ враговъ (напр. и понятиѣ лихорадки—теткою, кумакою и проч.) и наоборотъ, надѣленіе отвратительными именами дѣтей въ семьяхъ, гдѣ они часто умирають, „уносятся злымъ духомъ“; имя и именуемое не-

¹⁾ См. „Б. В.“ Сентябрь, 1913 г.

²⁾ А для нашихъ глаголовъ, вродѣ: сидѣть, дѣлать, дать—нѣкоторые языки употребляютъ до 150 отдѣльныхъ выраженій.

разрывны,—отсюда избѣгаютъ называть по имени злого духа (у насъ понынѣ „тоть“, „черный“ и др.) и наоборотъ—высокоочтимыхъ существъ—Божьихъ именъ, государевыхъ, у нѣкоторыхъ народовъ имени мужа женою и проч. Еще одна черта обращаетъ на себя вниманіе: высокое развитіе такихъ словъ, которыя рисуютъ внутреннее предчувствіе, сердечное томленіе, внутреннее предупрежденіе о приближающемся несчастіи, борьбу съ искушеніемъ, ощущеніе послѣдствій дурного поступка и проч., коими завѣдуетъ такъ наз. „симпатическій нервъ“—эта основа „познанія сердцемъ“¹⁾; это б. м. причина и высоко иногда развитой честности, правдивости у т. н. „первобытныхъ“, „некультурныхъ“ народовъ. Очень видную роль въ этихъ языкахъ играетъ для дистрибуціи понятій мелодія рѣчи и особенно „музыкальное“ удареніе (при отсутствіи нашего выдыхательнаго), „состоящее въ томъ, что тонъ гласнаго звука повышается или понижается при произношеніи“ (с. 258-я). „Стремленіе банакри—говорить одинъ изслѣдователь—*проникать въ существо новыхъ вещей исчерпывалось*, кромѣ вопроса. я ли это сдѣлалъ, еще другимъ *вопросомъ—объ имени*. „Какъ это называется?“ кричало хоромъ все общество, и всѣ принимались, не щадя себя, повторять португальскія слова. ...Если кому-нибудь удавалось воспроизвести хорошо подходящее слово, радость его была велика, и я получалъ впечатлѣніе, что и самый предметъ становился имъ какъ-то ближе“ (с. 259)... „Названія вещей переносятся банакри съ одного предмета на другой безъ всякаго метафорическаго отбѣнка... Название вещи есть сама вещь... сходство между явленіями устанавливаетъ для него ихъ тожество., предложеніе сливается, собственно, въ одно слово... слова *всегда конкретныя*, воегда обозначающія именно *этотъ* видъ явленій, а не вообще явленіе, не обнаруживаютъ

¹⁾ Этому вопросу посвящена недавно вышедшая большая книга А. А. Суворина „Новый человекъ“. Этотъ нервъ, (проходящій внутри грудной клѣтки и примыкающій къ основанію позвоночнаго столба) и особенно центръ его—„солнечное сплетеніе“ (расположенное между сердцемъ и желудкомъ, противъ „подложечки“) завѣдуетъ всѣми эмоціями (волненіями), кровеобращ., дыханіемъ и пищевареніемъ; этотъ „брюшной мозгъ“ завѣдуетъ инстинктами, хранитъ въ себѣ вторую память, читаетъ человѣческую мысль, обладаетъ способностью прозрѣнія, ясновидѣнія, это центръ познанія „вещей въ себѣ“ постиганія Перворазума міра, какъ головной—для внѣшняго.

звуконподражательнаго происхожденія, но требуютъ для достиженія ихъ полнаго пониманія побочныхъ изобразительныхъ средствъ, жестикуляціи, мимики и т. п.“ (с. 263). „Взаимное пониманіе... настолько облегчается одинаковостью ихъ переживаній, вызываемою тожествомъ условій, въ которыхъ они находятся, что иногда просто не является надобности въ произносимыхъ словахъ. Звукъ, изданный однимъ изъ нихъ, жестъ его, выраженіе лица понимаются другими безъ словъ“ (с. 271-я). Вотъ условія созданія, первотворчества—по типу—языка, оч. близко къ этому изложенное и Потебнею, и свойственное не только дикарямъ, но и современнымъ состояніямъ языка (образъ и его примѣненіе; художественное произведеніе и его критика)¹⁾. Среди современныхъ сѣверо-американскихъ языковъ есть не мало такихъ, особенностью коихъ является „инкорпорация, т. е. внѣдреніе объекта въ глагольное выраженіе, т. ч. глаголъ составляетъ настоящее предложеніе, а остальные слова служатъ только для его разъясненія“ (с. 276-я). Напрасно только проф. Погодинъ ставитъ въ связь съ этимъ и считаетъ характерными признаками примитивности языка такія явленія, какъ употребленіе различныхъ словъ для выраженія понятія *ѣсть* (напр. мясо и орѣхъ) и „распредѣленіе языковъ по классамъ общества... на одномъ говорили высшіе классы племени, его аристократія, на другомъ—простой людъ“ (с. 278). Вѣдь и у насъ понынѣ кушать, вкушать или ѣсть—вещи различныя: нельзя забывать о Ломоносовскихъ штудіяхъ, о примѣси французскаго языка къ русскому—въ цѣломъ рядѣ поколѣній, какъ внѣшнемъ признакѣ „интеллигентности“ еще въ оч. недавнемъ прошломъ, о говорѣ на *g* и нынѣ и т. п. Можно еще согласиться съ характерностью неустойчивости произношенія однихъ и тѣхъ же словъ—звуконъ тѣмъ же лицомъ въ разныхъ условіяхъ, хотя и мы въ извѣстныхъ случаяхъ произносимъ „человѣкъ“, а въ другихъ „чѣкъ“. пошелъ (пашелъ, пушелъ) и п'шелъ и проч.—Это все черты отнюдь не характерныя для т. наз. „дологической“ эпохи человѣческаго интеллекта, до которой такъ падка современная этнологія. „Первобытные люди гораздо больше поглощены мистическими свойствами существъ, нежели логическою связностью ихъ собственной мысли. Отсюда

¹⁾ См. хотя мою брошюрку „Основные вопросы литературной критики.“ Харьковъ. 1896 г.

самыя невозможныя, на нашъ взглядъ, представленія, не соответствующія нашимъ логическимъ навыкамъ мысли: одновременное присутствіе одного и того же лица въ разныхъ мѣстахъ, многочисленность душъ у человѣка и т. п.“ (с. 288). Одно слово—туманнаго значенія въ данномъ мѣстѣ—„мистическими“ портитъ все дѣло: нельзя же нашихъ понятій (если даже можно въ этомъ случаѣ подставить современное, крайне разнообразное, значеніе этого слова) подставлять на мѣсто „дикарскихъ“: вѣдь если слово было душою вещи, если, овладѣвъ первымъ, можно было считать себя владѣльцемъ и послѣдней; если слова разныя давались вещамъ одинаковымъ съ нашей точки (что—см. выше—опять таки считается характернѣйшей чертою психики дикаря), то у одной и той же (для насъ) вещи или существа могло быть совершенно логически (отнюдь не „мистически“) двѣ, три и больше душъ, а потому и все это теченіе мыслей для своей стадіи строго-логическое, необходимо вытекающее изъ строя міросозерцанія. Такъ что можно подвести итогъ: nihil humanum и для дикаря alienum; въ ихъ языкѣ въ сущности тѣ же процессы въ графаретѣ, конечно, что и въ наши дни.

А вотъ съ „Искусственными языками“ дѣло обстоитъ нѣсколько иначе. Прежде всего я бы не полагалъ въ ихъ основу „условныхъ метафорическихъ выраженій и крылатыхъ словъ“ (с. 290), что наблюдается въ воровскихъ жаргонахъ, въ языкѣ каторжниковъ, офеней и т. п. и строго отдѣлилъ бы ихъ отъ такихъ, которые именно придумывались, выдумывались, сочинялись отдѣльными лицами или группами (начало чему положено было Декартомъ) и въ словарной и въ грамматич. частяхъ (или въ послѣдней только) и притомъ какъ препаратъ изъ membra disjecta въ различныхъ языкахъ *одной* семьи ¹⁾ и не для специальныхъ цѣлей (науки, торговли и проч.), а именно для объединенія людей.—въ связи, полагаю, со вздорной (по своей неосуществимости и тому вреду, который она нанесла бы самой идеѣ развитія, прогресса человечества, если бы она могла быть осуществлена) идеѣ космополитизма, т. к. въ заданіе этихъ язы-

¹⁾ Сначала цѣль таковыхъ полагалась въ созданіи доступности науки и съ 17 до начала 20 вв. появляются попытки философскихъ языковъ, построенныхъ на алгебраическихъ знакахъ и потому стоящихъ за предѣлами языка.

ковъ нерѣдко входило именно, чтобы въ нихъ совѣтъ не было національнаго элемента. (Потебня не разъ говорилъ, что индивидуальное, личное, только черезъ національное, исподволь, по крупицамъ, но непременно откладываетъ въ общую сокровищницу челоуѣчества—искусство и науку—свои лучшіе перлы). „Всѣ эти языки могутъ разсчитывать для своего распространенія только на особенно счастливыя условія: кружокъ энтузіастовъ, готовыхъ клясться *in verba magistri*, общую подготовленность необходимаго настроенія въ извѣстной массѣ населенія и т. п.“ (с. 293). „Логическіе языки противорѣчатъ существу языка, требующему эластическихъ формъ для выраженія *индивидуальнаго* содержанія сознанія. Языкъ, не способный выразить индивидуальность, не есть челоуѣчскій языкъ. *Нарѣчіе дикаря*, допускающее хотя бы при посредствѣ грубыхъ средствъ морфологіи отгѣнки для выраженія личныхъ представленій говорящаго лица, *безконечно* выше каждаго изъ такихъ „философскихъ“ языковъ“ (с. 294), какъ все самое примитивное подлинно живое, выше самаго совершеннаго, имитирующаго жизнь. „Естественно, что ни одинъ изъ этихъ языковъ не получилъ никакого распространенія“ (с. 294)—„Нѣсколько болѣе судьба улыбнулась языкамъ созданнымъ *a posteriori*, т. е. на основаніи дѣйствительно существующихъ языковъ. Впервые программа такихъ языковъ была сформулирована русскимъ дипломатомъ фонъ-Гриммомъ, который выпустилъ ее въ Константинополь въ 1860 г.“ (с. 294), и уже въ программѣ обнаружилъ совершенное непониманіе сути языка: языкъ д. б. лишенъ всякаго „произвола“ т. е. не долженъ обладать богатствомъ и разнообразіемъ, а особенно „досаднымъ излишествомъ имѣть по нѣсколько словъ для обозначенія одного и того же понятія“.—„Большую извѣстность и распространеніе получили два всемірныхъ языка—воляпоукъ и эсперанто.“ Последній насчитываетъ въ настоящее время тысячи приверженцевъ, и его успѣхъ внушилъ многимъ, въ томъ числѣ, къ изумленію, и нѣкоторымъ изъ специалистовъ по языковѣднью (—очевидно, изъ не занимавшихся, добавлю, никогда вопросами о сущности языка), надежду что возможно выработать всемірный условный языкъ *науки*“ (с. 295), (опять добавлю, экспериментальной б. м., близкой къ языку знаковъ, словомъ препарированной, мертвенной; но не для гуманитарныхъ

наукъ, и ужъ ни въ коемъ случаѣ не для искусства, поэзін и вообще живой рѣчи). Воляпюкъ придуманъ въ 1879 г. католическимъ патеромъ Шлейеромъ въ цѣляхъ пропаганды на немъ среди всего человѣчества „идей любви и братства“, въ основу его положенъ былъ живой простонародный англійскій языкъ, какъ „наиболѣе распространенный изъ воѣхъ культурныхъ языковъ человѣчества“ (с. 196), (остальное—пестрая мозаика изъ кусковъ, заимствованныхъ отъ разныхъ народовъ, совершенно чуждая живому развитію языка). „Естественно что воляпюкъ не долго продержался на поверхности обществ. интересовъ. *Вызвавъ къ себѣ въ началѣ 80-хъ г.г. 19 столѣтія живое сочувствіе и вниманіе, онъ уже черезъ нѣсколько лѣтъ почти совсѣмъ сошелъ со сцены,* и въ 1901 г. насчитывалось уже всего около 150 человѣкъ, сохранившихъ ему вѣрность. *Въ это время гремѣлъ его соперникъ эсперанто Заменгофа, которому предстоитъ, несомнѣнно, та же самая печальная участь въ ближайшемъ будущемъ,* если только она и теперь не постигла его“ (299). И такихъ одинаково неудачныхъ попытокъ было нѣсколько десятковъ, на нихъ не стоитъ и останавливаться. Успѣху эсперанто способствовало много случайныхъ обстоятельствъ, въ числѣ коихъ не послѣднее мѣсто занимала идея, совершенно посторонняя языкознанію и его задачамъ: „еврей изъ Бѣлостока... насмотрѣвшись съ дѣтства на взаимную ненависть національностей, составляющихъ его населеніе, видя, сколько огорченій вызываетъ политика, направленная противъ того и другого языка“, Заменгофъ отказался отъ всякихъ имущественныхъ правъ на свое изобрѣтеніе и предоставилъ его распространять всѣмъ желающимъ“ (с. 299—300). Общественное настроеніе и пресса въ массѣ шли навстрѣчу этому личному разрушенію наболѣвшаго вопроса, и дали средства для выпуска крайне дешевыхъ учебниковъ и широкой, усиленной рекламы и пропаганды Эсперанто, особенно подчеркнувшей его легкость и быстроту для изученія и доступность всякому, повторяя слова энтузіаста-изобрѣтателя, который увѣрялъ: „Я упростилъ до невѣроятности грамматику... Всю грамматику моего языка можно отлично изучить за полъ-часа“ (с. 300), межъ тѣмъ какъ число однѣхъ только приставокъ и вставокъ словообразовательныхъ въ эсперанто—до 50, да и трудность всякаго иностраннаго языка почти исключительно въ

словахъ и стилистикѣ, а не въ грамматикѣ; (тѣмъ болѣе, что синтаксисъ почти устраненъ у Заменгофа), къ тому же, чтобы быстро освоиться съ эсперанто, необходимо знать романскіе, германскіе и отчасти славянскіе языки. Впрочемъ, самымъ блистательнымъ свидѣтельствомъ „легкости“ усвоенія эсперанто является *заявленіе* исполненнаго фантастическихъ надеждъ на будущее эсперанто энтузіаста этого „всемирнаго“ языка *проф. Бодуэна-де-Куртена, что онъ научился свободно (кромѣ отдѣльныхъ словъ) понимать всякій эсперантскій текстъ, проработавъ ежедневно по 12 часовъ втеченіе 2 недѣль! Да вѣдь это 168 часовъ работы для профессора специалиста, лингвиста, хорошо знакомаго со многими древними и новыми языками и законами ихъ словообразованія, да еще при увлеченіи дѣломъ; вѣдь это чуть не 2 учебныхъ года для школьника (считая по 2—3 ч. въ недѣлю на этотъ предметъ)!* „Въ концѣ 1907 г. эсперанто подвергся основательной реформѣ. Создали новую грамматику и новый словарь, и получился *новый языкъ „Идо“*, „... который можно изучить *шутя*“, т. к. грамматика его состоитъ изъ немногихъ простыхъ правилъ, не знающихъ исключеній. Запоминаніе словъ не требуетъ большого труда, *такъ какъ* (—убійственное признавіе своей негодности—) многія изъ нихъ извѣстны изъ роднаго или иностранныхъ языковъ“ (с. 303-я). Случилось то, чего необходимо было ожидать отъ всякаго искусственнаго языка, подставляющаго свое пониманіе, свое міросозерцаніе на мѣсто общечеловѣческаго, пытающагося задавить личность, личное творчество, которое всего неугасимѣе отражается въ языкѣ; личность должна вырываться изъ этихъ оковъ произвола одного лица (или небольшой группы), какъ она рвется и всегда и всюду изъ нихъ. И этотъ расколъ, доведшій до созданія *новаго языка*, когда родоначальникъ его едва прожилъ 25 лѣтъ, вполне естественный и необходимый, все же не удовлетворилъ даже яркихъ приверженцевъ „всемирныхъ“ братьевъ эсперанто и идо: въ томъ же 1907 г. является *Novilatin* проф. Беермана, и за нимъ еще рядъ другихъ, которые должны исчезнуть совершенно, до-гла, съ распространеніемъ въ обществѣ здоровыхъ элементарныхъ хотя познаний въ области языкознанія, къ чему уже теперь направлены и новая программа Министерства Народнаго Просвѣщенія (даже для 4-го класса ср. уч. заведеній). Прекрасно разъяснена

вся несуразность этихъ ненужныхъ, вредныхъ для прогресса человѣческой культуры попытокъ всемірнаго языка и проф. Погодинымъ. „Выходило такимъ образомъ, что культурное человѣчество должно принять для международнаго общенія не тотъ или другой изъ существующихъ и широкораспространенныхъ языковъ, но тотъ, который самъ единолично выдумалъ Л. Заменгофъ. Фактически же это выдумка искусственнаго языка вовсе не диктуется культурными потребностями. Тамъ, гдѣ сталкиваются на незначительной территории иногда разноязычныя племена, имъ, дѣйствительно, приходится прибѣгать къ какимъ-нибудь средствамъ взаимнаго пониманія, и, какъ мы видѣли, при скудости культурнаго запаса, характерной для такихъ племенъ, имъ удается изобрѣсти эти средства въ видѣ напр. языка жестовъ... Но у культурныхъ народовъ этой потребности просто не существуетъ... Чтобы объѣздить весь культурный міръ и вести любя сношенія съ иностранцами“, достаточно знать 4 европейскихъ языка (фр., англ., нѣм. и русскій). А кто читаетъ на этихъ языкахъ, тому открываются еще такія богатства человѣческаго духа, такія великія произведенія человѣческаго разума, предъ которыми, конечно, блѣднѣетъ жалкая „литература“ любого искусственнаго языка, которая создана однимъ или нѣсколькими людьми—(добавлю, хотя бы и самыми выдающимися въ данный моментъ, чему опять таки именно и препятствуетъ „полиглотство“, „международность“ и т. п.) и должна замѣнить богатства, накопленныя вѣками жизни цѣлыхъ народовъ... Въ области научной сама собою создается международная терминологія по всякой специальности. Естественное сближеніе народовъ вызываетъ образованіе множества тождественныхъ словъ для обозначенія различныхъ сторонъ культурной жизни. Въмѣстѣ съ предметами заимствуются и названія ихъ, и такъ было, несомнѣнно уже въ древнѣйшія времена. Такимъ образомъ... *искусственные языки...* никогда не будутъ призваны къ сколько-нибудь значительной культурной роли и *останутся лишь развлеченіемъ и прихотью людей, увлекающихся всею необычнымъ и склонныхъ къ фантазерству*“ (с. 305).

И что эта волна въ общественномъ сознаніи и мысли пошла уже на убыль, возвратилась вспять, ярко сказалось въ результатахъ послѣдней организаціи для распространенія

всемірнаго языка, учрежденной въ 1909 г.,— „Союза друзей международнаго языка“, при коемъ учреждена даже „Академія для научнаго изслѣдованія международнаго вспомогательнаго языка“, каковая пришла къ необходимости примѣненія логики къ м—му языку, т. е. возвратилась къ возрожденію забытыхъ уже мертворожденныхъ „философскихъ“ языковъ, о которыхъ была рѣчь выше; но крайней мѣрѣ завѣдующій этимъ отдѣломъ французскій философъ Кутюра настаиваетъ, чтобы всякая морфема (элементъ слова) „составляла одно элементарное понятіе и оставалось постоянно неизмѣннымъ“ (с. 307), т. е. идетъ совершенно вразрѣзъ съ тѣмъ, что лежитъ въ основѣ всякаго жизнеспособнаго языка, гонящаго всячески „мертвую зыбь“, требующаго отъ всѣхъ участниковъ въ этомъ общемъ дѣлѣ непрерывнаго, неустаннаго, хотя и незамѣтнаго, творчества, самодѣятельности. А потому всѣмъ участникамъ въ этой антикультурной затѣѣ, получившимъ лингвистическое образованіе, вѣдающимъ, что они творятъ, да будетъ стыдно!

Такъ расчистивши себѣ почву для рѣшенія существеннѣйшихъ вопросовъ, проф. Погодинъ и переходитъ къ нимъ въ главѣ „Образъ и слово.—Развитіе значенія слова.— Слова безъ образа.—Понятія.—Сужденія“. Къ сожалѣнію, эта часть совершенно не удалась изслѣдователю: онъ не устоялъ на прекрасно подготовленной почвѣ и не нашелъ ясныхъ опредѣленныхъ формъ для выраженія спутаннаго пучка своихъ мыслей. „Образъ,—говоритъ проф. Погодинъ въ самомъ началѣ главы,—не есть что нибудь цѣльное и опредѣленное“ (с. 308-я), и затѣмъ приводитъ цѣлыя страницы выдержекъ и пересказовъ изъ наблюдений врача Ж. Филиппа, далеко не отличающихся ясностью да и далекаго по спеціальности своей отъ такого рода вопросовъ. Вѣдь эта часть отлично разработана у Потебни; а если и не на него ссылаются, то хотя бы на Овсяннико-Куликовскаго, вообще на лингвистовъ философской и психологической школы. Плоды неудачнаго начала ясны. „Наряду съ образами простыми и ограниченными, образами еще недавняго происхожденія и свѣжими въ памяти, имѣются и такіе, которые по своему характеру представляютъ уже какъ бы синтезъ, какъ будто бы они составлены изъ подобныхъ образовъ, достаточныхъ каждый для того, чтобы остановить на себѣ цѣликомъ нашъ взглядъ“ (с. 309). Въ примѣръ приводится образъ улицы,

какъ будто онъ сложнѣе, чѣмъ любой другой, хотя бы „домъ-комната, окно“, которые могутъ являться и входящими одно въ составъ другого, какъ части, но могутъ оказаться въ мысли и равноцѣнными, не говорю уже о переносномъ смыслѣ (въ родѣ „улица собралась“ или на юбилей учредителя собрался весь „торговый домъ“—гдѣ трудно рѣшить, въ первомъ ли случаѣ было больше разнообразныхъ простыхъ единицъ—людей—составляющихъ „сложный“ образъ, или во второмъ). „Есть образы *средняго* типа, наиболѣе обычные въ нашей жизни... *Всякій образъ* состоитъ изъ *двухъ рядовъ* различныхъ элементовъ: одинъ образуетъ самое существо образа, его ядро, другой—его оболочку, прибавочные (первые—логическіе, вторые—картинныя—поясн. въ другомъ мѣстѣ—) признаки“ (с. 309), т. е. уже оказывается, что *все образы сложныя*.

Та же неясность опредѣленія и какое-то смѣшеніе понятій и далѣе, на цѣломъ рядѣ страницъ. Для образца возьмемъ хотя слѣдующее: „Наиболѣе конкретными являются *наиболѣе рѣдкіе* образы, характерныя черты которыхъ бывають очень отчетливыми, опредѣленными и легко доступными описанію“ (с. 313-я)... Чѣмъ чаще повторяется образъ, тѣмъ болѣе онъ имѣетъ тенденцію отдалиться отъ конкретного *типа* (!?). Возникаютъ различныя переходныя формы, пока образъ не превращается въ чистое отвлеченіе. *Абстрактный образъ*—это нѣчто столь общее, что уже не поддается индивидуальному описанію“ (с. 313). Абстрактный образъ—это противорѣчіе въ самомъ себѣ, какъ и „конкретный типъ“; вмѣсто „рѣдкіе образы“ слѣдовало бы сказать „образы предметовъ, рѣдко намъ попадавшихся на глаза“, или что—нибудь въ этомъ родѣ. И тогда, пожалуй, можно бы говорить о яркости этихъ образовъ въ нашей памяти ¹⁾, такъ какъ они надѣлены еще почти всеми отдѣльными чертами подлинника, перваго источника воспріятія, постепенно вытѣсняемыми частично другими воспріятіями отъ однородныхъ предметовъ (но все же нецрѣмѣнно окрашенныхъ ти-

¹⁾ Э. Мейманъ—въ своей „Экономіи и техникѣ памяти“ М. 1913 г.—находя (вопреки обычному мнѣнію) наиболѣе экономнымъ заучиваніе запоминаемаго матеріала сразу во всемъ объемѣ, оговаривается, однако, что лишь для взрослого, для зрѣлаго ума, а не для дѣтей,—значить и дикаря и первобытнаго состоянія мысли—необходимо запоминаніе по частямъ.

щичными, свойственными всѣмъ видѣннымъ предметамъ, чертами, напр. у горожанина при словѣ „домъ“—почти неотлучно ходять вовсе не существенные его признаки—каменный, зеленая крыша и т. п., а у жителя глухого села—соломенный, бѣлый и т. п.).

Далѣе идетъ у проф. Погодина цѣлый рядъ ссылокъ на *другіе* авторитеты (—для языкознанія опять—таки довольно сомнительной авторитетности—). Такъ напримѣръ, указаніе американскаго психолога Бетса, что нѣтъ умовъ, „способныхъ только къ тому или другому типу (—зрительному, слуховому или осязательному—) образнаго мышленія“ (с. 316) вѣдь это другими словами значить, что есть еще нормальные люди, надѣленные не всѣми нормальными органами. Если его опыты далѣе обнаружили, что люди, „которые обнаружили у себя полное отсутствіе образности: они думали только словами“ (ib.), то нужно еще спросить во-первыхъ, какими словами, т. к. есть и слова образныя, а во-вторыхъ отнести эти явленія къ области болѣзненныхъ; да еще слѣдовало бы поставить вопросъ о рациональности самаго эксперимента: у американскихъ студентовъ требовали наличности образовъ, связанныхъ со словомъ „религія“ (см. с. 317-ю). Выводъ же изъ неумѣнія образно представить это „безобразное“ слово людьми зрѣлыми и способными къ отвлеченному мышленію, существенный: слово постепенно лишается своей образности по мѣрѣ работы мысли въ этомъ направленіи и потому въ зрѣломъ языкѣ и должны быть двѣ категоріи словъ: слова отвлеченныя и конкретныя, образныя и безобразныя, могущія по мановенію нашей воли и разума и помѣняться мѣстами. Идя по этому правильному пути, Бине и Симонъ (тоже американскіе психологи) впали въ новую крайность: „мысль есть нѣчто отличное и отъ образа и отъ слова, она есть нѣчто другое, она составляетъ иной элементъ... имѣющій характеръ интеллектуальнаго чувства... То, что составляетъ мысль, является ощущеніемъ смутнымъ и часто эмоціональнымъ того, что подготавливается и образуется въ насъ“ (с. 317). Короче: „существуетъ мысль безъ образовъ, мысль безъ словъ, и мысль образуется интеллектуальнымъ чувствомъ“ (с. 318-я). Если должна быть мысль и безъ образовъ, если можетъ быть (въ исключительныхъ состояніяхъ,—сличимъ признанія поэтовъ, художниковъ и пр.) мысль безъ словъ, то „мыслительнаго“

(интеллектуальнаго) чувства не можетъ быть, хотя всякая мысль непремѣнно окрашена нашею индивидуальностью, нашей личностью, а, значить, и нашими личными чувствами, только этими многообразными путями и устанавливается и объясняется столь непостоянная связь между образомъ (въ широкомъ смыслѣ) и словомъ ¹⁾.

„Значеніе слова опредѣляется не только наличностью или отсутствіемъ связи слова съ образомъ, не только развитіемъ этого послѣдняго, но и *сужденіемъ*, въ которое входитъ, какъ одна изъ составныхъ частей, слово“ (с. 320-я).

„Обыкновенно мысль болѣе широка, болѣе объемиста; думаешь о цѣломъ, а образъ является только для части; эта часть можетъ быть важной, но иногда она оказывается только подробностью“ (с. 321). Это и показываетъ, что слово можетъ заключать въ себѣ нѣчто сложное, — цѣлое предложеніе, близкое къ сужденію, за предѣлами образности самого слова, и потому вопросъ о возможности мышленія словами безобразными, которому посвящаетъ столько мѣста Погодинъ (слѣдуя Бине „Мысль безъ образовъ“), — ясенъ самъ по себѣ: это область (хотя тоже не обходящаяся въ извѣстной дозѣ — ср. мою статью „Языкъ и математика“ — безъ образности —) математики и вообще абстрактныхъ наукъ. — Послѣ цѣлаго ряда разсужденій и справокъ о „случайномъ“ и „общемъ“ значеніяхъ слова, приведя довольно удачное выясненіе этихъ нѣсколько сбивчивыхъ терминовъ у Пауля (въ *Principien der Sprachgeschichte*) ²⁾ и сдѣлавъ правильный выводъ, что „случайное“ (—я бы предложилъ замѣнить это сбивчивое выраженіе словомъ „примѣненное“ къ опредѣленному жизненному („казусу“) случаю, явленію —) *значеніе „устанавливается связью слова съ другими или особыми изобразительными средствами, которыя также играютъ роль контекста“* (с. 327), проф. По-

1) И потому нужно быть крайне осторожнымъ въ ириговорахъ о *безмысленности* извѣстныхъ сочетаній, хотя бы для насъ связь между ними была совершенно непонятна, чѣмъ грѣшить иногда и Погодинъ (см. стр. 320).

2) „Подъ общимъ значеніемъ мы подразумѣваемъ все содержаніе представленія, которое связывается у людей, принадлежащихъ къ одной языковой средѣ“, съ извѣстнымъ слово, а подъ случайнымъ значеніемъ то содержаніе представленія, которое связывается съ произносимымъ словомъ челоуѣкъ и котораго ождаетъ отъ слушающаго, поскольку тотъ понялъ его мысль“ (с. 325).

годинъ почему-то находить нужнымъ отвергать тоже совершенно вѣрное и болѣе широкое утвержденіе Бизе (въ „Философій метафоры“): „Совершенно ошибочно противопоставлять собственному значенію слова несобственное, какъ образное, ибо то, что несвѣдущему человѣку представляется какъ собственное, оказывается для изслѣдователя образнымъ. Строго говоря, и невозможно говорить о чувственномъ и нечувственномъ значеніи, только объ образномъ, которое служить для обозначенія столько же чувственныхъ (конкретныхъ) понятій, сколько и нечувственныхъ—понятій“ (с. 327—8). Вѣдь въ этихъ примѣненіяхъ слова (между прочимъ и въ примѣраxъ самого Погодина „молодо-зелено“—образа не къ существамъ, какъ я ужъ указывалъ выше, нѣтъ и тѣни „антропоморфизма“, къ которому почему-то проф. Погодинъ относится предубѣжденно—пугливо.—Окончательный выводъ г. Погодина изъ всего этого нѣсколько странный: „Итакъ, мыслить образами, какъ и мыслить только образными словами, нельзя“ (с. 331).—„Послѣ того какъ установлено въ предшествующемъ изложеніи, что слова не всегда должны соединяться съ образами (—я бы говорилъ: „не вся образныя“) ...происхожденіе нашихъ абстрактныхъ (—безобразныхъ—) словъ представляется довольно яснымъ“ (с. 331) и безъ тѣхъ многочисленныхъ экскурсовъ въ область психопатологіи, которымъ отведены П—мъ цѣлыя страницы, т. к. они только подтверждаютъ, что выздоровленіе таковыхъ больныхъ идетъ по пути отъ образности („случайныхъ, собственныхъ значеній), конкретности къ отвлеченности, къ умѣнью создавать синтезъ, понятіе. „Понятіе тѣсно связано съ сужденіемъ“ (с. 335-я). „Подъ понятіемъ—по Крейбигу—вообще слѣдуетъ понимать безобразное (собственно „не наглядное“ — unanschaulich)—представленіе съ обособленіемъ признаковъ, произведеннымъ въ духѣ экономки мысли. Научныя понятія связаны съ относительно постоянными символами (знаками, словами, формулами)“ (с. 338-я).

„Слово не есть понятіе, но есть названіе понятія, говоритъ Гейзеръ. Иначе выражаясь, слово выражаетъ то или другое содержаніе понятія (Вундтъ), а стало быть и измѣненіе значенія слова должно сводиться, въ концѣ концовъ, къ процессу измѣненія самого содержанія понятій“ (с. 339). „Узнавая съ помощью сужденія о различныхъ свойствахъ предметовъ, я

вмѣстѣ съ тѣмъ расширяю или измѣняю значеніе того слова, которымъ означается предметъ“ (с. 341-я). И въ дальнѣйшемъ изложеніи взаимоотношеніе между сужденіемъ и предложеніемъ становится все менѣе и менѣе опредѣленнымъ и яснымъ. „Сужденія опредѣляютъ такія соотношенія между понятіями, которыя вносятъ въ значеніе слова, выражающаго понятіе, новые оттѣнки. Т. о., не только вслѣдствіе эволюціи образа... но и вслѣдствіе того содержанія, которое вносится въ слово понятіемъ или сужденіемъ, измѣняется его значеніе... Сужденіе требуетъ своего выраженія въ словахъ, и не просто въ сочетаніи словъ (ясное небо), но именно въ предложеніи (небо ясно). Само собой разумѣется, что всегда, когда нужно выразить сужденіе, приходится пользоваться предложеніемъ, и что, вообще, не имѣется никакого иного средства дать выраженіе своему сужденію относительно опредѣленнаго предмета“ (с. 342), т. е. какъ будто предложеніе и сужденіе сливаются. Непонятно также, чѣмъ различны „сочетаніе словъ“—„ясное небо“ и предложеніе—„небо ясно“: стоитъ поставить въ той и другой парѣ словъ посреди тире, и идентичность ихъ, именно какъ предложеній (а если угодно, пожалуй, и сужденій) станетъ очевидной, особенно для тѣхъ, кому хоть сколько-нибудь извѣстна эволюція категорій рѣчи. Поэтому и общій выводъ г. Погодинъ изъ всѣхъ изложенныхъ въ главѣ психологическихъ фактовъ: „Слово получаетъ свое значенія въ предложеніи, предложеніе создаетъ пониманіе между говорящими и воспринимающими лицами; слово пріобрѣтаетъ свое значеніе лишь въ соціальной средѣ“,—является лишь искусственно привязаннымъ ко всему выше сказанному и совсѣмъ плохо связывается съ приводимымъ дальше ученіемъ Потебни о значеніи слова (семасіология). Проф. Погодину кажется, что суть приводимыхъ имъ выдержекъ изъ „Мысль и языкъ“ въ установленіи „соціальнаго характера рѣчи“ (с. 345); вотъ онѣ: „слово въ каждый моментъ своей жизни есть одинъ актъ мысли, а не два... Что касается до самого субъективнаго содержанія мысли говорящаго и понимающаго, то эти содержанія до такой степени различны, что хотя это различіе обыкновенно замѣчается только при явныхъ недоразумѣніяхъ, но легко можетъ быть признано и при такъ называемомъ полномъ пониманіи. Мысли говорящаго и понимающаго сходятся между

собою только въ словѣ“. Продолженіе развитія этой же мысли идетъ у Потебни и на слѣдующихъ страницахъ того же сочиненія, но проф. Погодинъ продолжаетъ выдержки уже послѣ своего замѣчанія: „Вмѣстѣ съ тѣмъ Потебня отмѣчаетъ значенія слова для самого говорящаго лица.. (с. 345)—„Слово есть настолько средство понимать другого, насколько оно есть средство понимать самого себя. Оно потому служитъ посредникомъ между людьми и устанавливаетъ между ними разумную связь, что въ отдѣльномъ лицѣ назначено посредствовать между новымъ воспріятіемъ (и вообще тѣмъ, что въ данное мгновеніе есть въ сознаніи) и находящимся внѣ сознанія прежнимъ запасамъ мыслей. Сила человѣческой мысли не въ томъ, что слово вызываетъ въ сознаніи прежнія воспріятія (это возможно и безъ словъ), а въ томъ, какъ именно оно заставляетъ человѣка пользоваться сокровищами своего прошедшаго“ (изъ Потебни — у Погодина с. 345). Определеніе Потебнею слова, какъ „средства сознанія единства образа“ кажется Погодину узкимъ, и онъ предлагаетъ „расширить“ его такъ: „словомъ выражается не только единство образа, но и всякое единство сознанія“ (ib.),—не понимая, очевидно, что въ выраженіи Потебни „единство“ возможно (да главнымъ образомъ туда и относится) и для мыслительныхъ процессовъ одного лица, а „единство“ (лучше было бы на этомъ мѣстѣ „единеніе“ или ч. л. подобное) у Погодина предполагаетъ двухъ—нѣсколькихъ лицъ, „соціальность“, что обнаруживается и въ приводимомъ имъ на той же стр. примѣрѣ. Такое же своеобразное пониманіе у Погодина и основного положенія Потебни о характерѣ первоначальнаго слова: „Когда имя было примѣнено къ одному предмету, оно имѣло только единичное, конкретное значеніе. Другихъ предметовъ того же рода для говорящаго въ это время еще не было ¹⁾, такъ что эти предметы не могли имѣть того же атрибута. То, что возникло впоследствии, именно родовое значеніе слова не можетъ быть приписано начальному мгновенію его жизни“ (с. 347—у Погодина), Г. Погодинъ на той же страницѣ и воз-

¹⁾ Что г. Погодинъ не разъ заявлялъ, удивляясь, что у „первобытныхъ“ народовъ существуютъ десятки названій для самыхъ обычныхъ предметовъ (собаки, лошади и проч.: сѣрая—одно, вороная—другое и т. д.).

ражаетъ и соглашается съ нимъ: „вопреки этому мнѣнію, я полагаю... что слово должно было уже при возникновеніи языка означать безразлично и общій образъ и индивидуальный конкретный образъ ...Я вполне согласенъ съ Потемной: первоначальная фраза—слова имѣли только конкретное значеніе, вызывалась не чувствомъ (и не познаніемъ) вообще, но именно этимъ, теперь возбужденнымъ, чувствомъ. Отсюда уже выдѣлились первичныя слова, которыя были связаны съ конкретными образами“ (с. 347). Явное противорѣчіе съ самимъ собою!—„Знаменитый русскій лингвистъ не достаточно ясенъ“ (с. 348) и въ дальнѣйшемъ развитіи основы своего ученія: „Въ словѣ какъ представленіи единства и общности образа, какъ замѣнѣ случайныхъ и измѣнчивыхъ сочетаній, составляющихъ образъ, постояннымъ представленіемъ (которое, припомнимъ,—въ первобытномъ словѣ не есть ни дѣйствіе, ни качество), человекъ впервые приходитъ къ сознанію бытія темнаго зерна предмета, къ знанію дѣйствительнаго предмета ¹⁾... Какъ безъ языка невозможно понятіе, такъ безъ него не было бы для души предмета, п. ч. и всякій вышній предметъ только посредствомъ понятія получаетъ для него полную существенность... Понятіе развиваетъ только то, что дано уже до него“ (с. 348—у Погодина)... „Въ значеніи всегда заключено больше, чѣмъ въ представленіи...

Слово служить лишь точкой опоры для мысли. По мѣрѣ примѣненія слова къ новымъ и новымъ случаямъ, это несоотвѣтствіе все увеличивается. Относительно широкое и глубокое значеніе слова (напр. „защита“) стремится оторваться отъ сравнительно ничтожнаго представленія (взятаго изъ слова „щитъ“), но въ этомъ стремленіи производитъ лишь новое слово. Данная мыслью новыя точки прикрѣпленія усиливаютъ ея ростъ... Поэзія—преобразование мысли посредствомъ конкретнаго образа, выраженнаго въ словѣ... Всякое искусство есть образное мышленіе, т. е. мышленіе при помощи образа. Образъ замѣняетъ множественное, сложное, трудно уловимое по отдаленности, неясности, чѣмъ-то относительно единичнымъ и простымъ, близкимъ, опредѣлен-

¹⁾ До этой поры на мѣстѣ предмета была хотя частица реальная своего „я“, т. е. нѣчто ирреальное (превращавшееся въ реальное длиннымъ процессомъ самоанализа).

нымъ, нагляднымъ (с. 349—у Погодина). — Врядъ ли кому эта цѣльная, яркая картина покажется „неясною“, когда она собрана воедино, а не разбита прерывающими пониманіе замѣчаніями Погодина на мелкіе кусочки, хотя и на 2 всего страницахъ ¹⁾. Остальная часть главы,—послѣ нѣсколькихъ замѣчаній о Крушевскомъ, (къ основному положенію котораго: „Всякая вещь получаетъ свое названіе по одному к.-н. признаку“—г. Погодинъ относится отрицательно—см. с. 353),—посвящена Вундту, на сторонѣ коего наибольшія симпатіи Погодина. „Оставляя въ сторонѣ такія измѣненія въ значеніяхъ, которыя сопровождаются перемѣной и въ звуковомъ составѣ словъ, Вундтъ подробно останавливается на перемѣнахъ, обуславливаемыхъ первонач. признаками понятій. Здѣсь слѣдуетъ различать два основныхъ случая: *частичное* и *полное измѣненіе значеній*. Въ первомъ случаѣ слова, получая новое значеніе, сохраняютъ и старое, во второмъ же оно утрачиваетъ это послѣднее. При этомъ наблюдается или постепенное расширеніе значенія, приводящее къ образованію новаго значенія или мгновенный процессъ замѣны одного значенія другимъ, переносъ“ (с. 354—5)... „Этотъ послѣдній случай сводится къ *изображенію* новаго слова или новаго значенія слова“, (с. 355), каковое Вундтъ называетъ „произвольнымъ“, тогда какъ „другой характеръ имѣетъ правильное, постепенное развитіе значеній... обусловленное строгой законностью“ (с. 355).

Какая своеобразная классификація и на чисто субъективной основѣ!.. Все въ мысли идетъ постепенно, упорнымъ поступательнымъ движеніемъ, „полное“ измѣненіе значенія подготавливается „частичнымъ“ (если только вообще возможно такое дѣленіе); моментъ „мгновенности“ необходимъ для всякаго новаго примѣненія звукового комплекса къ новому запросу мысли, новому „предмету“, что и является всякій разъ созданіемъ новаго слова, всегда актомъ „произвольнымъ“, какъ всякая „инвенція“, всякое творчество—находка но въ то же время и всегда происходящимъ по извѣстнымъ законамъ, подготовленнымъ всемъ предыдущимъ ходомъ

¹⁾ Въ томъ же родѣ и его „полемизированіе“ съ Потребнею на с. 350—1 по поводу метафоры и ея сущности.

развитія человѣческой мысли. Это немолчное, постоянное бѣненіе пульса языка, какъ самостоятельнаго индивидуальнаго творчества въ отличіе отъ „изобрѣтенія“ новаго слова, т. е. созданія необычнаго, небывалаго до сихъ поръ въ языкѣ сочетанія звуковъ,—явленія очень рѣдкаго ¹⁾. На любомъ примѣрѣ это всякій легко можетъ прослѣдить: „воротъ“ и „воротъ“, „ворота“ и „вороти“ мгновенно поворачиваютъ нашу мысль то къ одному явленію, то къ другому даже безъ звукового измѣненія (въ первой парѣ), а въ сочетаніи съ к.-л. инымъ словомъ кругъ вращенія нашего пониманія становится еще шире и разнообразнѣе, напр. „мельничный воротъ“ и „воротъ рубашки“ и т. п.: а звуковыя измѣненія внесутъ еще ряды новостей: „врата“ и „ворота“.

Таковы же сужденія Вундта о „суженіи и расширеніи значенія словъ“, при чемъ первое будто бы находится въ „любомъ діалектическомъ словарѣ“, какъ возвращеніе де къ первонач. значенію, а послѣднее— „результатъ историческихъ явленій“: сравнимъ хотя бы народное — „діалектическое“ „нѣмецъ“ (всякій иностранецъ, говорящій на чужомъ для народа языкѣ, все равно что „нѣмой“) и наше историческое—культурное—„нѣмецъ“. А дальнѣйшими мотивами въ измѣненіи значеній словъ—„этическими“ возмущился даже г. Погодинъ: „Создавать изъ этой группы переходовъ значенія особую категорію представляется рѣшительно ни на чемъ не основаннымъ. Точно также только излишнее стремленіе къ систематизаціи заставляетъ Вундта выдѣлять (наряду съ исторически—логической и нравственной оцѣнкой) еще телеологическій мотивъ переходовъ значеній“ (с. 360). Да и самъ Вундтъ въ заключеніе, послѣ этого длиннаго ряда ненужныхъ подраздѣленій, называетъ еще „психологическую интерпретацію“ обобщающаго характера, покрывающую все остальное: „Психологія языка есть не только одна изъ областей примѣненія психологін, но и сама служитъ главнымъ источникомъ общихъ психологическихъ свѣдѣній“ (с. 360-я). Не менѣе шатко и ученіе Вундта о первоначальныхъ словахъ, которымъ будто бы дѣлается невозможною, разбивается

¹⁾ Для примѣра назову слово „нападъ“, которое Потебня предлагали вмѣсто „актъ“ мысли.

на голову теорія Потебни. *Вотъ* — сущность его: „Предметы назывались первоначально *по общимъ* свойствамъ или по дѣятельностямъ, которыя при нихъ воспринимались... небо — какъ „сводъ“. земля — какъ „вспаханное“... Первоначальное называніе вещей своими именами основывалось собственно на переходѣ значенія. т. к. названія свойствъ и дѣйствій оказывались переносимыми на конкретные предметы, вмѣстѣ съ которыми они воспринимались... Образование понятій о свойствахъ и состояніяхъ должно было предшествовать образованию партій о предметахъ... *Процессъ первоначальнаго называнія представляетъ подведеніе предмета подъ общее понятіе, т. е., иначе говоря, ограниченіе значенія*“ (с. 361—2). Значить, до слова уже было понятіе (которое именно и создается продолжительной, упорной работой мысли черезъ слово — что признается и Вундомъ), которое потомъ при помощи слова какъ-то ограничивается. Въ заключеніе главы проф. Погодинъ стремится взять какой-то срединный, примирительный путь, чувствуя несообразность этой теоріи: „Слово закрѣпило ту или другую черту образа, сдѣлалось обозначеніемъ и предмета и качества или его дѣйствія.

Слово, а не образъ вошло въ работу мысли. Образъ сталъ гаснуть, но выдвигались словесныя представленія; создавались понятія, объемъ которыхъ выяснялся соединеніемъ словъ въ сужденіяхъ“ (с. 364). Недочеты этого утвержденія мною указаны выше.

А. Ветуховъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).